

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

Глава восьмая

“РАДУЮСЬ, ЧТО НЕ ВОЗРОС НА АРБАТЕ”...

Май 1968 года. В Париже начались студенческие беспорядки, подхваченные молодёжью чуть ли не всей Европы, и, что поразило своими масштабами весь западный мир, на улицы Франции тогда вышли 10 миллионов человек — четверть населения страны. “Молодёжная революция”, как лесной пожар, перекинулась в Северную Америку, где её очаги тлели со времён Селинджера и проклинавших войну во Вьетнаме битников, вспыхнула в Чехословакии, в Польше и даже в Японии, ознаменовав конец эпохи благополучного капитализма с его наспех замаскированной хищностью, с политическим лицемерием и ханжеской стабильностью. При внимательном изучении глубинных причин этой революции всемирного шестидесятничества обнаруживалось нечто поразительное: самые радикальные и разрушительные её цели исходили из самых древних, почти мифологических времён человеческой истории — из ветхозаветной эпохи “восстания ангелов” и содомитской свободы от всяческих табу, воцарившейся в Содоме и Гоморре. “Освобождение человека должно быть тотальным!” — вопили толпы парижских студентов и студенток. “Запрещается запрещать!”, “Пролетарии всех стран — развлекайтесь!”, “Никогда не работай!”, “Нам нужен мужчина каждый день!”, “Алкоголь убивает, принимай ЛСД!”, “Че Гевара — герой, буржуазия — дерьмо!”, “Последнего капиталиста задушим кишкой последнего бюрократа!” “Sex, drugs, rock-n-roll!” (“Секс, наркотики, рок-н-ролл”). Идеологами новой мировой революции стали известные политики и философы старшего поколения — Жан-Поль Сартр, Адорно, Ортега-и-Гассет, Герберт Маркузе, Маклюэн и многие фигуры более мелкого масштаба, вроде Вацлава Гавела. “Молодёжная революция”, как это ни парадоксально, была одновременно и антибуржуазной, и антикоммунистической, и антихристианской... Любой порядок был ненавистен ей. Так или иначе, но все перемены, возникшие в мировой жизни в эту инфантильную эпоху, подготовили человечество к созданию общества потребления, вслед за которым должно было возникнуть общество одичания. Однако в 60-е годы основы русско-советской жизни эти западные соблазны полностью расшатать не смогли. Мы ещё жили памятью о войне и Великой Победе, мы ещё помнили мудрость наших пословиц и поговорок: “Делу время, потехе час”, “Терпенье и труд всё перетрут”, — в сознании нашей молодёжи ещё

Продолжение. Начало в №11-12 за 2019 год и №1-4 за 2020 год.

была жива Божественная истина: “В поте лица своего будешь добывать хлеб свой” (Быт. 3,19). Я уж не говорю об антибуржуазном лозунге “Кто не работает, тот не ест”! А наиболее прозорливые русские умы сознавали, что хиппи и тунеядцы, думающие, что они восстают против несправедливого миропорядка, на самом деле бросили вызов Божественному мироустройству, а их восстание было похоже на восстание жителей Содома и Гоморры, жаждущих прожить всю жизнь в мире тотального секса и вечного велфера. Если называть “шестидесятниками” всех творческих людей, созидавших литературную, театральную, киношную и общественную жизнь той эпохи, то становится очевидным явный раскол среди них. Нас, русских почвенников, государственников, патриотов, выбившихся “в люди” из простонародья, отделяла от “детей Арбата” и “Дома на набережной”, представлявших партийно-чиновничью, “энкавэдэшную”-военную и административно-культурную элиту общества, целая пропасть. Несмотря на то, что мы в основном были людьми одного поколения, росли и мужали в одну и ту же эпоху, наши мировоззренческие устои были совершенно разными и даже враждебными друг другу. “Мы” и “они” по-разному понимали и толковали историю России. “Мы” и “они” находили в этой истории разных кумиров. “Мы” и “они” по-разному оценивали события русской революции 1917 года, судьбу крестьянства в годы коллективизации, смысл, масштабы и цели репрессий 30-х годов, наши поражения и победы в Великой Отечественной войне. В конце концов, “мы” и “они” с противоположных позиций оценивали феномен авторитарной власти в СССР. И, конечно же, “мы” и “они” окончательно разошлись по разные стороны баррикад сначала в эпоху XX съезда и “оттепели”, а потом в роковые 1990-е. На протяжении всей жизни нас разделяло отношение к Православию и к многострадальной судьбе в XX веке Русской Церкви. Трещины этого раскола мы нащупывали в нашем Серебряном веке, который страстно обожали “шестидесятники” арбатского разлива и о котором Иоанн Кронштадтский с горечью писал в книге “Путь к Богу”: *“Наши светские литераторы при жизни своей сами себя делают богами и по смерти желают своим собратьям по перу дорогих памятников на видных местах... Вот характер наших борзописцев: живя в постоянной прелести самообмана, они прельщаются или стараются прельстить всех и сделать участниками своего самообмана <...> Сеяли суету, суету и пожнут...”*

Вспоминаю, как в начале третьего тысячелетия я, издав книгу “Шляхта и мы”, оказался под градом площадной брани со стороны шляхетских националистов, и как охотно к ним присоединилась наша “пятая колонна”! В майском номере варшавского журнала “Новая Польша” за 2005 год было опубликовано коллективное письмо российского Пен-центра, подписанное Вознесенским, Ахмадулиной, Аркановым, Ерофеевым и прочими лидерами либеральной тусовки, в котором перечислялись все преступления России: “катынское злодеяние”, “Варшавское восстание”, “стираемая с лица земли Варшава” – с истерическим воплем: *“Как же странно признавать, что начало этому кошмару практически положил чудовищный пакт Риббентропа–Молотова!”*.

Надо было бы знать пен-клубовским подписантам этого письма, что они защищают открыто фашистовавшую в предвоенное время страну, которая задолго до августа 1939 года вела переговоры с тем же Риббентропом. А до него в Варшаве то и дело гостили министры Третьего рейха Геринг и Франк, множество немецких генералов и дипломатов. Польский министр иностранных дел Ю. Бек ездил на свидание к Гитлеру... Да и сам фюрер после оккупации Польши приказал поставить в Кракове почётный военный караул у гробницы Пилсудского в Вавельском замке, как бы отдавая дань благодарности его профашистской политике и, видимо, вспомнив, что в 1933 году Польша стала первым (после Ватикана) государством, заключившим с Германией договор о ненападении, чем поспособствовала международному признанию фашистского режима.

Нынешние поляки до хрипоты рвут глотки, осуждая сталинское государство за соглашение с Гитлером в августе 1939 года. Но вспомним, что до этого каждый кусок Европы, проглоченный фашизмом, Польша приветствовала с восторгом: оккупацию Рейнской области, аншлюс Австрии, вторжение Италии в Абиссинию, итало-германскую поддержку фалангистов Франко в Испании... Гитлеровскую Германию исключают из Лиги Наций – Польша тут же услужливо предлагает фашистам представлять их интересы в этой предшественнице ООН. А когда произошла мюнхенская драма и Гитлер с согласия Англии и

Франции отхватил у Чехословакии Судеты, Польша решила, что за заслуги перед Германией ей тоже положена часть добычи – и отрезала у чехов Тешинскую область.

Из двадцати четырёх российских подписантов письма, опубликованного в “Новой Польше”, более половины – это советские евреи, глаза которых затуманились от ненависти к советскому государству. Ну хоть бы вспомнили, по какой довоенной Польше 1939 года, разорванной “чудовищным пактом Риббентропа–Молотова”, они проливают слёзы. Я тогда посоветовал бы им прочитать отрывок из воспоминаний гражданина Польши, поляка по матери Андрея Нечаева, ныне живущего в Щецине:

“В конце 30-х годов Польша начала склоняться к фашизму – “Фаланга”, ОНР (национально-радикальный лагерь), увлечение Гитлером... У меня в университете был друг-поляк, который бегал на кинохронику в кинотеатр и с удовольствием смотрел гитлеровские парады. Молодёжь из ОНР в дни антиеврейских акций кричала: “Еврей – бешеная собака, которую надо убить!”

Ещё на первом курсе я стал свидетелем ужасающих сцен. В ноябре я пережил в университете антиеврейские дни. Представьте себе такую сценку: из двухсот студентов на медицинском факультете пятеро были евреями. Аудитория заполнена не только студентами, но и уличной шпаной. Почти все орут: “Убей еврея!” Профессор заявляет, что в таких условиях он не может читать лекцию, и уходит. Евреи спасаются бегством, перепрыгивают через балюстрады. Кое-кто из них был сильно избит.

Меня это повергло в шок...

Вскоре в университете ввели гетто – выделенные места для евреев в аудиториях, а затем *numerus nullus* (запрет евреям поступать в высшие учебные заведения). Евреев вообще не принимали на медицинские факультеты” (Новая Польша, № 11, 2004).

Ни в какие времена, даже самые трудные для советских евреев – ни в тридцатые, ни в сороковые годы, ни в эпоху “борьбы с космополитами” – такое в России и СССР представить было невозможно.

Это было подражанием гитлеровским “хрустальным ночам”, но лишь с одной особенностью: в Польше тех времён преследовало и загоняло евреев в угол не столько государство, сколько само общество, население, “соседи”, если вспомнить трагедию местечка Едвабне, в котором осенью 1939 года местные поляки сожгли живьём в громадном бревенчатом сарае около полутора тысяч своих соседей – местных евреев. Государственную практику легко прекратить, общественные нравы искоренить или исправить чрезвычайно трудно, почти невозможно, чего наши “шестидесятники” от Высоцкого до Евтушенко не понимали.

* * *

Поучительно и даже интересно сравнить образы женщин-матерей у поэтов и прозаиков, выросших на Арбате или в Доме на набережной, с материнскими образами из книг многих моих друзей – выходцев из простонародья.

* * *

У Анатолия Передреева старенькая мать, крестьянка, родившая семерых детей, трое из которых не вернулись с войны, а четвёртый вернулся без ног, молится на ночь, вспоминая их всех:

*Уляжется ночь у порога,
Уставится в окна луна.
И вот перед образом Бога
Она остаётся одна.*

*Туманный квадратик иконы,
Бумажного венчика тлен.
И долго роняет поклоны
Она, не вставая с колен.*

*И пламя лампадки колышет,
Колеблет листочек огня.
Ночной её вздох — не услышит
Никто его, кроме меня!*

*Лишь сердце моё шевельнётся,
Сожмётся во мраке больней...
Никто никогда не вернётся
С кровавых и мёртвых полей!*

*Не будет великого чуда,
Никто не услышит молитв...
Но сплю я спокойно, покуда
Она надо мною стоит.*

1961

Ни у кого из “солистов” Политехнического или Лужников нет ни стихов, ни воспоминаний такой веры, такого чувства. Есть трогательное стихотворенье у Булата Окуджавы, но это стихи не о молящейся матери, а о революционерке, похожей на девушку из рассказа Алексея Толстого “Гадюка”, или на женский образ из некогда знаменитой светловской “Каховки” — “...и девушка наша в солдатской шинели // горящей Каховкой идёт”... У Окуджавы причастность героини к главному делу её жизни — революционной борьбе — обозначена талантливо и точно: “...но привычно пальцы тонкие // прикоснулись к кобуре”. Юная мать нашего героя — это “комиссарша в пыльном шлеме”, по убеждениям — родная сестра Розалии Землячки, Ларисы Рейснер и прочих фурий революции. Так уж стихийно получилось, что мои друзья по литературе и искусству, которых я уважал и ценил, почти все, за исключением Вадима Кожинова, были крестьянского происхождения. Николай Тряпкин — из подмосковной деревни Лотошино, Валентин Сорокин — из челябинского села Ивашла, Виктор Боков — из подмосковной деревни Язвицы, Юрий Кузнецов — из станицы Уманьской Краснодарского края, Анатолий Передреев — из поволжского села Старый Сокур, Николай Рубцов — из вологодской Николы, Фёдор Сухов — из нижегородского Красного Осёлка, Иван Переверзин — из якутского посёлка Жатай, Василий Белов — из вологодской Тимонихи, Валентин Распутин — из приангарской Аталанки, Василий Шукшин — из алтайского села Сростки, Виктор Астафьев — из красноярского села Овсянка, Вячеслав Клыков — из курской деревни Мармыжи, Владимир Солоухин — из владимирского села Алепино, Фёдор Абрамов — из пинежской Верколы. Все значительные вологодские поэты — Сергей Викулов, Александр Романов, Виктор Коротаев, Ольга Фокина, Сергей Орлов — вышли из своей деревни или села сначала в Вологду, а потом в Россию. А каково было происхождение “детей XX съезда? Оба деда у Евгения Евтушенко по отцу и по матери были из революционной интеллигенции. О дедке Рудольфе Гангнусе Евтушенко писал: **“Рудольф Вильгельмович прекрасно говорил по-русски, по-немецки, по-латышски, но, конечно же, был немцем”**, он работал учителем в московских школах и писал учебники по математике. В 1938 году был арестован по 58-й статье, но вскоре был освобождён и умер своей смертью. А дед по матери, Ермолай Евтушенко, — из рода польских шляхтичей, после Первой мировой войны сделал выдающуюся военную карьеру: дослужился до заместителя начальника всей артиллерии нашей страны, но сложил свою голову в 1938 году как участник военного заговора. Иногда он, встречаясь с внуком Евгением, пел ему свои любимые революционные песни: “По диким степям Забайкалья...”, “Дубинушку”, “Варшавянку”.

Я сам, работая над этой книгой, не ожидал, сколько талантливых детей русской деревни мне придётся вспомнить, чтобы осознать правдивую картину жизни нашей литературы во второй половине XX и в начале XXI веков. Все они честно отслужили в армии положенное время срочной службы (Анатолий Передреев, Василий Белов, Владимир Крупин, Сергей Поликарпов) или на флоте (Николай Рубцов, Василий Шукшин). В суворовских училищах отучились Олег Михайлов и Анатолий Ланщиков, в Нахимовском был спасён от участи беспризорника военных лет Анатолий Штыров, ставший впоследствии

знаменитым командиром подводной лодки, а потом – контр-адмиралом, поэтому и прозаиком. А что же “дети XX съезда”? Насколько мне известно, никто из них – ни Василий Аксёнов, ни Евгений Евтушенко, ни Роберт Рождественский, ни Андрей Вознесенский, ни Иосиф Бродский, ни Виктор Ерофеев, ни Александр Галич, ни многие другие – не попробовал солдатской каши и не узнал, что такое военная присяга. “Шестидесятник” Роберт Рождественский, носивший фамилию отчима, офицера советской армии, на самом деле бывший сыном сотрудника НКВД, поляка по происхождению Петкевича, был назван Робертом в честь одного из самых жестоких партийных руководителей 30-х годов, латыша Роберта Эйхе.

Отец Беллы Ахмадулиной был генералом таможенной службы, подчинявшейся НКВД, а матушка Беллы Ахатовны – штатной переводчицей сначала на знаменитой Лубянке, а потом – в Америке, в Организации Объединённых Наций. Отец Андрея Вознесенского – сын врача и внук священника – вступил в шестнадцать лет во время гражданской войны в партию большевиков, стал секретарём райкома в городе Киржач, подавлял в 1921 году Кронштадтский мятеж, а после гражданской выучился на строителя гидростанций, которые в 30-е годы возводились, как и Беломорканал, руками заключённых под руководством высших чинов НКВД. “Двадцать послевоенных лет, – сообщает автор книги о Вознесенском И. Вирабов, – Андрей Николаевич возглавлял Гидропроект”, был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и т. д., строил гидростанции на Волге, не раз брал на эти стройки сына и был, естественно, похоронен в знаменитом сталинском пантеоне – на Новодевичьем кладбище, где рядом с ним лежит и его “антисталинист” сын, что вполне естественно: номенклатура – она и на кладбище номенклатура... У крестьянских “неноменклатурных” поэтов память о предках выглядела естественнее и проще:

*...где же погост — вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
“Это на том берегу”.*

(Н. Рубцов)

Известные поэты-“шестидесятники” Межиров и Слуцкий происходили из местечковых еврейских семейств, занимавшихся торговлей и банковским бизнесом и перекочевавших в 1920-е годы, в эпоху нэпа, с Харьковщины и из Чернигова в столицу – Москву, где обосновалась с 1916 года сбежавшая из Польши в разгар Первой мировой войны семья врача-венеролога, в которой выросла ещё один из главных поэтов “оттепели”, “шестидесятник” Давид Кауфман, ставший впоследствии Дезиком Самойловым. Вся эта троица воспитывалась в своих семьях с помощью русских нянек и домработниц, покинувших раскулаченные деревни и уехавших в большие города в поисках работы и куска хлеба.

Я родился в 1932-м, в разгар коллективизации, и с малых лет узнал цену куску хлеба и чугунка картошки. До сих пор помню, с каким чувством после отмены карточной системы в 1936-м попробовал первые лакомства: белый хлеб, шипучее сидро и чашку холодного густого кефира. Иная жизнь была у баловня нэпа Дезика, сына врача-венеролога и матери – сотрудницы Внешторгбанка. Вот как он вспоминает о своём детстве:

“Папа консультирует на кондитерской фабрике Андурского. Он приносит громадные торты и плетёные коробки с пирожными. У папы лечится рыбник. Жирные свёртки с икрой остаются в передней после его посещения. Приносят сало, ветчину, виноград, сливки, телятину, цветную капусту... Я испытываю отвращение к еде”... Представьте себе, с какими чувствами могли читать эти воспоминания Дезика крестьянские дети Михаил Алексеев, Виктор Кочетков, Анатолий Передреев и многие другие, чудом выжившие в обезлюдевших от голода во время коллективизации поволжских сёлах. У любимца “шестидесятников” историка Натана Эйдельмана отец был партийным и политическим журналистом, обслуживавшим судебные процессы 30-х годов. Он, в частности, как газетчик сделал всё, чтобы поэт Павел Васильев погиб в застенках НКВД. Он же печатно проклинал как врагов народа Бухарина, Радека и Зиновьева, судьбу которых в годы перестройки безудешно оплакивали Евтушенко, Межиров, Антонов-Овсеенко и другие “шестидесятники”. Отцами

известных писателей-“шестидесятников” Чингиза Айтматова и Камилла Икрамова были первые секретари коммунистических партий Киргизии и Узбекистана, оставившие на родине тяжёлую память о себе, поскольку оба беспощадно руководили коллективизацией в родных республиках. У Марлена Хуциева (Хуцишвили), автора культового “шестидесятнического” фильма “Застава Ильича”, отец во время гражданской войны служил комиссаром гаубичной дивизии, а в 30-е годы дослужился до кресла заместителя наркома внутренней и внешней торговли СССР. Семья Булата Окуджавы в 30-х годах вселилась в “дворянско-буржуазную” квартиру на пресловутом Арбате, о чём впоследствии не раз вспоминал Булат Шалвович: “Я дворянин с арбатского двора...”, “арбатство, растворённое в крови...”, “Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия...”, “Ах, Арбат, мой Арбат, ты моё отечество...” и т. д. Конечно, все эти привилегированные семейства имели гораздо большие возможности выводить своих отроков в люди, нежели отцы и матери рабочие-крестьянского простонародья, из которого вышли почти все друзья моей литературной молодости.

Мне могут возразить, что, мол, отроки из “знатных семей” больше всех пострадали в эпоху “большого террора”. Возможно. Хотя отцы Шукшина, Распутина, Бородина погибли в том же тридцать седьмом... Но те “дети Арбата” и “Дома на набережной”, чьи отцы и матери были репрессированы в 1930-е годы, после хрущёвского XX съезда, осознав себя потомками “комиссаров в пыльных шлемах” и продолжателями великих ленинских традиций, воспользовались своими возможностями сполна. Перед ними, как в сказке, растворились двери издательств и киностудий, театров и журналов, кабинетов на Старой площади и всяческих зарубежных посольств. Они снова, как четверть века назад, почувствовали себя единственными законными “детьми Арбата”, навсегда забыв или умолчав о том, кто жил на этом старом Арбате до них и кому он до них принадлежал. Но известный русский писатель из первой эмиграции Борис Зайцев помнил, как расселялись в 1920-е годы отцы и матери “дворян с Арбатского двора”, и вспоминал об этом времени с точностью очевидца:

“Полусумасшедшая старуха в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредёт с палкой и бессмысленно бормочет: “Помогите! Помогите!” – и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продаёт конверты близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в чёрных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник с седенькими, тупо заслезившимися глазками, побелевшим носом и неукоснительно твердит: “Подайте полковому командиру!” Рыцарь, задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином вниз глядит на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет в седой изморози на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, всё перерывая, вороша жизнь старую”.

Один из самых лояльных по отношению к “детям Арбата” литераторов нашего круга Олег Михайлов так вспоминал об авторе культовых “арбатских” песен тех лет:

“В 1964 году небольшая группа молодых писателей приехала из Москвы в тогдашний Куйбышев. Гвоздём программы был, конечно, Булат Окуджава и его песни. Как-то после очередного концерта, за ужином я рассказал о моём (ныне покойном) друге Дмитрие Ляликове. Он, в частности, говорил, что когда на Кавказе узнали, что будто бы Сталин убил Кирова, то начали лучше относиться к Сталину. Слишком много зла натворил в тех краях “мальчик из Уржума”. И услышал от Окуджавы:

– Этого человека надо расстрелять!

Я был поражён:

– Но почему же?

И Окуджава тихо, но непреклонно ответил:

– С Кировым работала моя мама...”

После этого остаётся только вспомнить строчку из стихотворенья Окуджавы о своей матери: **“...но тихонько пальцы тонкие // прикоснулись к кобуре”** или из его гимна: **“Поднявший меч на наш союз // достоин будет худшей кары...”** – или признание Кирова о том, что **“мы шли к победе революции по**

колено в крови". Много раз я встречался с подобного рода признаниями "пламенных революционеров" и ненавистью их потомков к "тридцать седьмому году", сделавшему их сиротами. Почти все они, за редким исключением, так и не поняли, что судьбы их отцов и матерей вершились согласно закону всех великих революций, гласящему, что революции рано или поздно "пожирают своих детей". Этот закон знал наш выдающийся композитор Георгий Свиридов, кстати, происходивший из простонародья. Отец Георгия Васильевича, почтовый работник, был убит во время гражданской войны денкикинцами. Но тем не менее, когда он прочитал ставший сенсационно модным в годы "перестройки" роман А. Рыбакова "Дети Арбата", то сделал в своих дневниках такую запись:

"Их родословная, всегда ли они были "детьми Арбата"? Кто их отцы, населявшие Арбат и др. привилегированные "престижные" улицы Москвы и Ленинграда? Страшная участь подлинных "детей Арбата". Цель романа – свалить с себя вину за истребление людей на одного человека, которому "дети Арбата" служили за страх и выгоду. Они служили бы и за совесть, если бы она у них была. (Новый поток лжи)" ("Музыка как судьба". М.: Молодая гвардия, 2002).

* * *

Почти все известные советские писатели-"шестидесятники", будучи отпрысками профессиональных революционеров, выходцами из семей чекистов и детьми местечковых "комиссаров", в шестидесятые-семидесятые годы, как по команде, стали авторами книг, выпускаемых в серии "Пламенные революционеры" Издательством политической литературы. Тиражи книг этой серии и соответственно гонорары были для советского времени сумасшедшими. Кроме вышеупомянутых Окуджавы и Аксёнова (книги о Пестеле и Красине), в этой серии издали книги все именитые "шестидесятники": А. Гладилин (о Робеспьере и Мышкине), В. Войнович (о Вере Фигнер), Е. Парнов (об Эрнсте Тельмане и Яне Райнисе), Э. Миндлин (о Коллонтай), Р. Орлова-Либерзон (о Джоне Брауне), К. Икрамов (об Амангельды Иманове), Ю. Трифонов (об А. Желябове), Л. Славин (о Домбровском, Белинском и Герцене), В. Корнилов (о В. Обнорском), А. Бормаговский (о Полежаеве и Бабушкине), Н. Эйдельман (о Муравьёве-Апостоле и Пущине), И. Минутко (о Розе Люксембург), Я. Гордин (о Б. Хуаресе), Э. Кардин (об А. Бестужеве-Марлинском), Ст. Рассадин (об И. Горбачевском), М. Лохвицкий (о нескольких второстепенных профессиональных революционерах и террористах), И. Гуро (о К. Цеткин), М. Поповский (об И. Морозове), Р. Фиш (о каком-то мелком провокаторе)... Не счастье количество книг, изданных, как на подбор, авторами этой "могучей кучки", из уст которой во все советские времена неслись жалобы на притеснения по "пятому пункту", на зверства цензуры, на всяческие проявления государственного давления. Несколько авторов серии "Пламенные революционеры" успели в октябре 1993-го подписать письмо "42-х", многие "свалили", кто – на "благословенный Запад", кто – в "Землю обетованную". И серия "Пламенные революционеры" по этим причинам в начале перестройки прекратила своё существование. Все её авторы без исключения после 1993 года, словно по команде, забыли обо всех *пламенных революционерах*, которых они прославляли и за страх, и за совесть, и за большие деньги. Впрочем, я думаю, что они тогда уже знали поговорку, возникшую в нашем обиходе в 1990-е годы: "Только бизнес – и ничего личного!" Интересно так же то, что их герои – революционеры самых разных народов и национальностей, но список авторов, сплотившихся вокруг Политиздата, состоит на 95 процентов из писателей, *ущемлённых* присутствием в их советских паспортах "пятого пункта".

* * *

13 июня 2019 года. В популярной передаче "Зелёная лампа" был показан фильм о Булате Окуджаве, беседующем с ведущим передачу Феликсом Медведевым. Заключение передачи состоит из документальных кадров, запечатлевших концерт Булата в Политехническом в середине 1960-х. И когда Булат Шалвович запел:

*Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое б новое сражение
ни всколыхнуло шар земной,
я всё равно паду на той,
на той единственной гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной, —*

в последних кадрах фильма вся аудитория встаёт, как один человек, и подхватывает слова легендарного гимна “комиссаров в пыльных шлемах”...

Глядя на этот всколыхнувшийся зал, я понял, почему деды и отцы этой молодёжи из Политехнического победили в “единственной гражданской” и, вышвырнув на арбатскую мостовую “полусумасшедших старух” — всяческих дворянок, чиновничьих жён и матерей московских юнкеров, защищавших безнадежное белогвардейское дело, вытолкали пинками из наследственных родных домов и квартир состарившихся полковых командиров, некогда служивших согласно присяге в войсках крестьянского сына генерала Деникина...

Сыновья и внуки победителей “единственной гражданской” встали во весь рост в Политехническом, потому что у них появился Окуджава, сплотивший их своей песней. А исконные русские жители Старого Арбата стали в 1920-е годы изгнанниками, потому что кумиром их молодости был всего лишь навсегда Вертинский, не желавший или не сумевший сплотить эту публику словами той же силы, какая была в песне Окуджавы... Глядя на ряд голов в зале Политехнического, разом выросших в полутьме, услышав, как они мощным хором подпевают своему кумиру, я понял, что они готовы продолжать и гражданскую войну, и третью мировую. В конце концов, чтобы понять неизбежность, силу и последствия закона революций, “пожирающих своих детей”, я, собравши в памяти все подобного рода истории, в том числе и происшедшие с моей собственной роднёй, “разродился” в 1987 году то ли большим стихотворением, то ли маленькой поэмой, эпиграфом к которой взял окуджавскую стихотворно-музыкальную строчку “Ах, Арбат, мой Арбат, ты моё отечество...” Стихотворение для поэта, какими бы чувствами оно ни было продиктовано, всегда является поступком. А каждый поступок (в лирических ли стихах, в гражданских ли одах, в исторических ли поэмах) — словно выстрел, сопровождается отдачей. Многие мои стихи-поступки обладали этим свойством. И конечно же, к такого рода сочинениям я причисляю “Размышления на старом Арбате”, где попытался проникнуть в душу и судьбу не только “дворян с арбатского двора”, но и просто людей, живших в то же время. Это стихотворение печаталось в моих поэтических сборниках 1990-х годов. Но тиражи тогда были крошечными, к тому же прошло время, сменилось поколение не только писателей, но и читателей. Нынешний читатель, скорее всего, не знает этих “Размышлений”, поэтому я осмеливаюсь впервые опубликовать их в нашем журнале.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАРОМ АРБАТЕ

Ах, Арбат, мой Арбат, ты моё отечество...
(из популярной песенки)

*Где вы, несчастные “дети Арбата”?
Кто виноват? или Что виновато?..
Жили на дачах и в особняках —
Только обжили дворянскую мебель,
Время сломалось, и канули в небыль...
Как объяснить? — Не умею никак...*

*Сын за отца не ответчик, и всё же
Тот, кто готовит кровавое ложе,
Некогда должен запачкаться сам...
Ежели кто на крови поскользнулся
Или на лесоповале очнулся,
Пусть принесёт благодарность отцам.*

*Наша возникшая разом элита,
Грозного времени нервная свита,
Как вам в двадцатые годы спалось?
Вы танцевали танго и чарльстоны,
Чтоб не слышать беломорские стоны
Там, где трещала крестьянская кость.*

*Знать не желают арбатские души,
Как умирают в Нарыме от стужи
Русский священник и нищий кулак...
Старый Арбат переходит в наследство
Детям... На Волге идёт людоедство.
На Соловках расцветает ГУЛаг.*

*Дети Арбата свободою дышат
И ни проклятий, ни стонов не слышат,
Любят чекистов и славят Вождя,
Благо пока что петух их не клюнул,
Благо из них ни один не подумал,
Что с ними станет лет семь погода.*

*Скоро на полную мощность машина
Выйдет, и в этом, наверно, причина,
Что неожиданен будет итог...
Кронос, что делаешь? Это же дети —
Семя твоё! Упаси их от смерти!..
Но глух и нем древнегреческий рок.*

*Попировали маленько — и хватит.
Вам ли не знать, что история катит
Не по коврам, а по хрупким костям.
Славно и весело вы погостили
И растворились в просторах России,
Дачи оставили новым гостям.*

*Всё начиналось с детей Николая...
Что бормотали они, умирая
В смрадном подвале? Всё те же слова,
Что и несчастные дети Арбата...
Что нам считаться! Судьба виновата.
Не за что, а воздаётся сполна.*

*Чадо Арбата! Ты злобою дышишь,
Но на грузинское имя не спишешь
Каждую чистку и каждую пядь —
Ведь от подвала в Ипатьевском доме
И до барака в Республике Коми,
Как говорится, рукою подать.*

*Тётка моя Магадан оттрубила,
Видела, как принимала могила
Дочку наркома и внучку Шкуро.
Всё, что виновно, и всё, что невинно,
Всё в мерзлоту опустили взаимно,
Всё перемолото — зло и добро.*

*Верили: строится прочное дело
Лишь на крови. Но кровица истлела,
И потянулся по воздуху смрад,
И происходит ошибка большая —*

*Ежели кровь не своя, а чужая...
Так опустел предвоенный Арбат.*

*Новое время шумит на Арбате,
Всюду художники, как на Монмартре,
Льются напитки, готовится снесь...
Я прохожу по Арбату бесстрастно,
Радуюсь, что беззаботно и праздно
Можно на древние стены смотреть.*

*Помнишь, Арбат, социальные страсти,
Хмель беззаконья, агонию власти,
Храм, что взорвали детишки твои,
Чтоб для сотрудника и для поэта
Выстроить дом с магазином “Диета” —
Вот уж поистине храм на крови...*

*Радуюсь, что не возрос на Арбате,
Что обошло мою душу проклятье,
Радуюсь, что моя Родина — Русь —
Вся: от Калуги и аж до Камчатки,
Что не арбатских страстей отпечатки
В сердце, а великорусская грусть!..*

1987

И иногда мне кажется, что не всё у меня написано и осмыслено точно и убедительно в этом произведении. Иногда хочется какие-то части стихотворной ткани перешить, дописать, домыслить. Но, подумавши, каждый раз отказываюсь от этой затеи. Стихи, как сама жизнь, — заново её не проживёшь. У Евтушенко эти операции “переживания и переписывания” жизни получались. А у меня... нет. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь...

Впрочем, судьба неожиданно помогла мне, подарив встречу с женщиной, муж которой — видный военачальник — сгинул в 30-е годы, а всё, что она рассказала мне о своей жизни, дополнило не до конца осмысленные мои стихотворные “Размышления на старом Арбате”.

* * *

В начале семидесятых годов я приехал подлечиться в один из санаториев осенней Прибалтики. Сестра-хозяйка привела меня в столовую и посадила за стол к двум пожилым дамам. Вскоре я понял из застольных разговоров, что они были давние подруги — ещё с тридцатых годов — и принадлежали к привилегированному слою молодой советской бюрократии. Мужья их были репрессированы в тридцать седьмом году, обе подруги также узнали вкус тюремной похлёбки, но выжили и сохранили в своей цепкой женской памяти многое из того, что крайне интересовало меня.

Одна из них, высокая, молчаливая, всегда в строгой серой шерстяной кофте, разговаривала мало, за едой всё больше смотрела через стеклянную стену столовой в морскую даль, загромождённую глыбами намёрзшего у берегов грязного льда.

Её дочка Елена Игнатовна Калина работала в Иностранной комиссии Союза писателей. Радужная, спокойная, деловая, с ней было приятно встречаться в казённых коридорах. Другая моя соседка по столу, Алла Израилевна — хохотушка, каждый день менявшая наряды, болтала без умолку, чем навлекала на себя неудовольствие старинной подруги.

— А муж у моей Кати был дипломат, уполномоченный Наркоминдела Украины, когда ещё столица в Харькове была... Когда Катю арестовали и в тюрьме как-то повели в душ, то она совершенно случайно на стене увидела надпись, что её муж Игнат Калина в эту ночь расстрелян. Они в одной тюрьме, оказывается, сидели...

— Алла, прекрати! — Екатерина Ивановна резко встала, отодвинула стул и быстро пошла к выходу...

— Да что ты! Что с ней? — возмущённо зашебетала Алла Израилевна. — Мы столько раз на эти темы говорили — и ничего!

Но тем не менее, Алла Израилевна поспешила вслед за подругой, видимо, чтобы успокоить её. В результате я не видел их за ужином, а на другой день Алла Израилевна с искренним возмущением докладывала мне:

— Она меня до сердечного приступа довела. Мы в двухкомнатном номере живём. Ночью мне стало плохо — весь вечер со мной не разговаривала, так я едва доползла до её двери и говорю: “Катюша, дай мне таблеточку валидола!” Представляете, что слышу в ответ: “Не мешай мне спать!” Какая жестокость... — Алла Израилевна закручинилась, закрывая лицо ладонью, но ненадолго: — Да, молодой человек, воспитывалась я всё-таки с боннами и гувернантками и помню, как где-то в середине тридцатых годов попала в деревню и впервые увидела, как хлеб пекут, как коров доят! Но тогда я уже замужем была... О, муж был тоже из интеллигентной семьи. Родом из Одессы. Был близок к литературе, лично знал Багрицкого, Олешу, Бабея... Но пошёл он по юридической части. И карьеру сделал какую — до начальника Особого отдела всей Красной армии! Но был справедливым. Пришёл как-то к начальнику одесского ЧК и сказал: “То-то у вас не по закону и то-то”. Так мат такой стоял в управлении, что чуть стёкла не повывлетали.

Как он меня любил! Помню, жили мы в Белорусском военном округе, на границе с Польшей... Какие балы для офицерского состава муж устраивал! Сколько молодых офицеров вокруг меня увивалось... Лошадь у меня была своя, дамское седло — и вот представьте: я на лошади, в длинном платье, а за мной целая кавалькада молодых людей в военной форме... А потом я стала кататься по-мужски, в мужском седле! Лихачка я была, лихачка! Словом, жила “среди шумного бала”...

Но мужа перевели в Москву, и поселились мы в Столешниковом переулке, в доме из двух квартир, как сейчас говорят, на двух уровнях... А в тридцать седьмом мужа послали в Минск, в командировку, ликвидировать какой-то заговор в связи с испанскими событиями. Отдельный вагон, их семь человек, я провожаю их с Белорусского вокзала, и вот, представьте себе, меня с вокзала секретарь мужа везёт не домой, а в Бутырскую тюрьму... А мужа с его штабом, как я потом узнала, взяли в дороге, до Минска он не доехал... (Позже я узнал, что её муж — одессит по фамилии Карелин — был действительно в те годы крупным военным чиновом. — **Ст. К.**)

В тюрьме срезали с моих туфель из змеиной кожи пряжки, чтобы вены себе не вскрыла, и представьте себе: хожу я каждый день по ночам на допросы в чёрном с блёстками платье, и туфли без пряжек цокают по цементу, и французскими духами от меня пахнет! Так все в тюрьме говорили, что на допросы по ночам водят красавицу — французскую шпионку!.. — Алла Израилевна захохотала от восторга. Отсмеялась, вытерла слёзы. — А муж покончил с собой в камере. Стёклами от очков перерезал вены. Меня, правда, выпустили через полтора года — настрого приказали, чтобы никому ни слова, где сидела...

Ах, как трудно мне жилось первое время. Вертинский, помню, говорил: “Всё, что угодно, но с авоськой выйти на улицу не могу!” Вот и я то же самое. Выпустили меня девятого февраля, в холод, во французском платье — чёрное, в блёстках, — в туфлях из змеиной кожи, без пряжек... Холод! Начальник распорядился: “Одеть её в телогрейку и женщину дать, чтобы довезла до дому”... А я как вышла за порог — и плечами так сделала, — Алла Израилевна повела плечами, — сбросила тюремную телогрейку! Весь трамвай на меня смотрел — откуда такая взялась, зимой в чёрном платье и в туфлях. Но я молчу, смотрю в трамвайное окно, головы не поворачиваю. Приехала к своему дому, а консержка руками всплеснула и шепчет: “Куда вы, Алла Израилевна?! Мы тут плакали, глядячи, как женщины, то одна, то другая, в ваших туалетах выходили из вашей квартиры”. Это кэзэбэшницы приезжали, якобы для работы, искать чего-то в бумагах и в моих платьях уходили...

Жила я раньше, как птица в золотой клетке, а после тюрьмы устроилась кое-как машинисткой, угол сняла. Но не унывала. Один раз только заплакала. В моей квартире стояла мебель из Аничкова дворца. Не потому, что я требовала антиквариата, а потому, что так положено было. И вот когда меня освободили, еду я как-то с новым мужем — он у меня был кинооператор, а потом,

после него, был ещё переводчик с каких-то европейских языков — ах, сколько покойников вокруг меня! — и вижу: в окне комиссионного магазина стоит моя мебель, с мрамором и инкрустацией... Тут я и заплакала. В первый раз за всё время!

Мы заканчивали нашу очередную прогулку. С Балтийского моря дул свежий ветер, серые волны с однообразным шумом набегали на скопища льда возле берегов, чайки вились над нашими головами, требуя привычных подачек. Одинокие фигурки людей маячили вдоль горизонта по громадному полукругу песчаной косы, теряющейся в туманной дымке. Пахло прелыми водорослями, солёным льдом, соснами...

— А что вы торопитесь в Москву, Алла Израилевна, продлите путёвку, поговорим ещё о былом, морем подышим...

Алла Израилевна кокетливо смеялась, прижимаясь плечом к моему плечу, — я прогуливал её под ручку, — поправляла мизинцем седой локон, выбившийся из-под шляпки...

— Нет, что вы! Мне пора домой, я соскучилась по своему обслуживающему персоналу: маникюрши, педикюрши, парикмахерши... Да и питание здесь весьма однообразное. Мне пора садиться на свою диету...

Много лет минуло с той поры, но я слышал, что Алла Израилевна ещё жива и работает в каком-то театре художником по костюмам, вернее, консультирует, поскольку сама на пенсии; но когда я вспоминаю о ней, то представляю её не иначе, как стремительно идущей по ночным, плохо освещённым бетонным коридорам Бутырской тюрьмы с поднятой головой, в чёрном французском платье с блёстками, в туфлях из змеиной кожи, с которых срезаны пряжки... Туфли цокают по цементному полу, будят женщин в соседних камерах, те припадают к глазкам и решёткам и шепчутся, что опять ночью, когда в тюремных коридорах тишина и безлюдье, на допрос водили красавицу, французскую шпионку, взятую чуть ли не с какого-то правительственного шумного бала...

Когда же я думаю о том, что случилось с Россией в тридцатые годы, то неизменно вспоминаю очаровательную по своей наивности эпохальную фразу из повествования Аллы Израилевны:

— Увидела я в окне комиссионного свою мебель из Аничкова дворца и расплакалась!..

* * *

Вот какова была судьба “детей Арбата”, детей Столешникова, детей из “Дома на набережной”.

Но не будем злословить. “Что нам считаться? — судьба виновата, // не за что, а воздаётся сполна”, как сказано у одного поэта.